

Эти пределы священны уж тем,  
что однажды под вечер Пушкин  
на них поглядел с корабля по  
дороге в Гурзуф.

*М. Волошин*

От слова Коктебель у меня во рту остается уксусный привкус молодого виноградного вина. Такое вино для утоления жажды пили поздним летом в гомеровской Элладе, пили в легендарной Киммерии; такое вино пьют и у нас, на древней и вечно молодой крымской земле...

Когда я пишу эти строки, передо мной на письменном столе стоит большая коробка с самоцветами и просто цветными, обкатанными морем коктебельскими камнями – оранжево-красными сердоликами, темно-розовыми агатами, зелеными нефритами, яшмами самых разнообразных цветов и оттенков, а также полупрозрачными халцедонами, которые называют то окаменелыми слезами nereid, то таинственным словом фернанпикс, что в переводе всего-навсего значит «штучка». Впрочем, фернанпиксом халцедон становится лишь тогда, когда отложения морских солей образуют на нем узорчатую рубашку. В этих камнях переливаются все краски крымского неба и черноморской воды.

Стоящая предо мной коробка – результат многолетних поисков.

Перебирая камешек за камешком, я воочию вижу все те места, где они были найдены, вспоминаю милых моему сердцу друзей и спутников, с которыми мне приводилось бродить по тихим бухточкам восточного Крыма, ведя бесконечные, отрешенные от ежедневной суеты беседы. Более того. Глядя на них, я даже продолжаю почему-либо прерванные разговоры, незаконченные споры.

Сейчас зима. Я сижу за столом у разрисованного морозом окна. Серебряный рисунок чуть-чуть подцвечен пристывшим к стеклу солнцем. За окном, буксуя в снегу, ревут машины. Снегу в первые же недели зимы выпало столько, что его не успевают вывозить. А из раскрытой на моем столе коробки пахнет морскими водорослями и степной полынью. Склоняясь над исчерканной страницей, я слышу мягкий плеск волны и сухой треск цикад. Из глубины памяти сами собой всплывают строки поэта, чье имя неразрывно связано с Коктебелем:

Звонки стебли травы, и движенья зноя пахучи.  
Горы, как рыжие львы, стали на страже пустынь.  
В черно-синем огне расцветают медные тучи.  
Горечью дышит полынь.

В ярых горах долин, упоённых духом лаванды,  
Тёмным золотом смол медленно плавится зной.  
Нимбы света, венцы и сияний тяжких гирлянды  
Мерно плывут над землёй.

Я повторяю про себя эти строки, и во рту возникает уксусный привкус молодого вина. Ведь это же Коктебель.

Есть люди, которые любят перемену мест, легко меняют свои старые привязанности в погоне за новыми впечатлениями. Я не принадлежу к их числу. Если я открыл для себя какое-либо место – мне обязательно нужно обжить его. Видимо, в этом сказывается наследие моих предков земледельцев, корчевавших когда-то под пашню леса Приднепровья. Они не покидали политого их потом, возделанного их руками клочка земли до тех пор, пока он не переставал кормить их. А кормит земля не хлебом единым.

Вот и я к обжитым мной местам привязываюсь надолго, а иногда и на всю жизнь. Так в юности я привязался к Смоленску, так в зрелые годы я привязался к Коктебелю. Правда, привязался я к ним по-разному. Смоленску отдаю все мои труды и дни, а Коктебель стал для меня тем же, чем для моих предков было приходское село. Они ездили туда раз в году, чтобы очиститься душой от всего суетного и встретиться с друзьями и близкими.

После войны у меня сложился такой распорядок жизни, что из года в год я прощался с летом и встречал осень в Коктебеле. Коктебель я полюбил задолго до того, как увидел его. Полюбил по стихам Максимилиана Волошина.

Говорят, чтобы как следует понять поэта, надо побывать на его родине. Это совершенно справедливо. Но не менее справедливо и другое, что любую страну можно понять, только вчитавшись в ее поэтов.

Без стихов Максимилиана Волошина мне куда труднее было бы понять душу той земли, где

В одно русло дождями сметены  
И грубые обжиги неолита,  
И скорлупа милетских тонких ваз,  
И позвонки каких-то пришлых рас,  
Чей облик стерт, а имя позабыто.

...

Каких последов в этой почве нет  
Для археолога и нумизмата –  
От римских блях и эллинских монет  
До пуговицы русского солдата!..

Недаром же каждому приезжающему в Коктебель новичку старожилы прежде всего показывают возникающий из нависших над заливом скал Карадага профиль бородатого поэта. И все узнают в нем Волошина. Узнают уже по одному тому, что всем хочется верить, что благодарная природа, утверждая и подтверждая слово поэта о ней, сама запечатлела его облик, создала его нерукотворный портрет. Волошин, умевший не только придумывать, но и принимать придумки всерьез, считал свой нерукотвор-

ный портрет высшей наградой для себя, знаком признательности родного края, любимого Коктебеля:

Его полынь хмельна моей тоской,  
Мой стих поёт в волнах его прилива,  
И на скале, замкнувшей зыбь залива,  
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.

Я впервые попал в Коктебель в августе тридцать восьмого года, когда дача покойного поэта, переданная им Союзу писателей, стала уже Домом творчества литературного фонда.

В молодости я с большим недоверием смотрел на такие дома. В самой их идее мне виделось ремесленническое понимание труда художника. «Ну как это можно, – думал я, – ехать творить по путевке Литфонда, да еще в точно определенный срок? А если вдохновение придет чуть пораньше или чуть попозже?»

К творчеству я относился с трепетным благоговением новичка-провинциала, стыдящегося вслух произнести само это слово, а не то что ехать куда-то со специальной целью творить.

В наивности своих юношеских представлений я убедился потом, но уже и тогда выделял среди домов подобного рода дом в Коктебеле, где дружеские встречи поэтов стали благородной традицией еще при Волошине. К тому же врачи настойчиво советовали свозить туда мою шестилетнюю дочку, страдавшую бронхиальной астмой.

Это была моя первая поездка к морю. Готовясь к ней, я перечитал все, что смог достать Волошина и о Волошине, а значит, и о Коктебеле. Но достать мне, к сожалению, удалось очень немного. В библиотеке Дома искусств я нашел один сборник его стихов да две-три статейки о нем, где он рассматривался как внутренний эмигрант, прятавшийся в своем крымском захолустье от великих событий века.

В вагоне, чтобы не быть застигнутым врасплох, я вспомнил все стихи о море, какие знал у русских и зарубежных поэтов. Мне казалось, что, повторяя их строфу за строфой, как молитвы или заклинания, я издали почувствую дыхание моря, угадаю его появление на горизонте. Но оно появилось совершенно неожиданно даже для тех, кто встречался с ним не в первый раз. Увидев его, я сразу забыл все стихи и только глубоко-глубоко вздохнул, словно вместе с воздухом можно было вобрать в себя эту зыбкую, вспыхивающую и рассыпающуюся мириадами искр синеву.

А вот уже и морские ворота восточного Крыма – Феодосия. На синем фоне четко вырисовываются коричневатые холмы с белыми домиками. Красная черепица густо залита маслянистой глазурью зноя. Пыльные листья деревьев кажутся вырезанными из какой-то плотной, грубой материи. За окнами мелькают то колокольня церкви без креста, то минарет мечети без полумесяца. В соседнем купе кто-то скандирует стихи Мандельштама:

Прозрачна даль. Немного винограда  
И неизменно дует ветер свежий.  
Недалеко от Смирны и Багдада,  
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

Поезд замедляет ход. Приветствуемый забронзовевшими купальщиками, он тянется над самым пляжем мимо санаториев, мимо картинной галереи Айвазовского. Я не успеваю подумать, что надо узнать, какие еще в городе есть музеи, как поезд останавливается, и мы окунаемся в праздничную сутолоку вокзала.

От Феодосии добираемся на грузовой машине. За городом море опять пропадает из виду. Дорога петляет по рыжим, выжженным за лето холмам степного предгорья и, только почти вплотную приблизившись к скалам Карадага скатывается в зеленую долину, озаренную лазурным пламенем коктебельской бухты.

В волошинском парке среди возведенных Литфондом строений резко выделяется дом поэта. Он стоит у самой кромки прибоя, похожий на корабль, только что вернувшийся из дальних странствий во времени и пространстве.

Я поселился по соседству, в одном из новых корпусов. Мне с женой и дочерью дали довольно большую комнату с отдельной застекленной верандой. Жене комната понравилась, а я был немножко разочарован. Мне очень хотелось пожить в доме поэта, под той крышей, где не раз находили приют Брюсов и Белый, Гумилев и Мандельштам. Утешился я только после того, когда мне сказали, что у вдовы Волошина Марьи Степановны всегда открыты двери для всех приезжающих в Коктебель поэтов.

Но, прежде чем пойти к Марье Степановне, мне нужно было хоть чуть-чуть освоиться на Киммерийском берегу Евксинского Понта. Приглядываясь к коктебельскому пейзажу, я все больше и больше поражался тому, с какой проникновенной точностью запечатлелись в стихах Волошина не только внешние, зримые черты этих мест, не только окружающий их воздух, а и сама их душа, незримое наследие минувших поколений.

Из камней низкая ограда,  
Быльем поросшая межа,  
Нагие лозы винограда  
На темных глыбах плантажа,

Лучи дождя и крики птички,  
И воды тусклая вдали,  
И это горькое величье  
Весенней вспаханной земли...

Среди собравшихся в Доме творчества литераторов у меня оказался только один знакомый – Иосиф Павлович Уткин. Чтобы я не чувствовал себя одиноким, он уговорил меня выступить на устраивавшемся там под его председательством вечере поэтов. Кроме самого Уткина, на этом вечере из «стариков» участвовал Всеволод Рождественский и из молодежи несколько периферийных авторов, в том числе и мой земляк, живший в это время в Карелии, Иван Кутасов. Стихи его на меня впечатления не произвели, но сам он мне понравился, вероятно, потому, что весь вечер расспрашивал о Смоленщине.

Почти все поэты, готовясь к вечеру, написали что-нибудь о Коктебеле. Я даже не пытался сделать это, зная, что у меня все равно ничего не получится, пока не надышусь здешней тройчаткой – смесью степного, морского и горного воздуха. И я прочитал не-

сколько лирических миниатюр о среднерусской природе, а в заключение – отрывок из поэмы «Земля», вступление к той ее части, где речь шла о войне четырнадцатого года:

По дорогам русским в беспорядке  
Разогнала беженцев война.  
Их встречают воплями солдатки,  
Выкликают мертвых имена.

Очумев, хватают за оглобли:  
Может быть, хоть весточку привез.  
Но от воплей беженцы оглохли,  
Но ослепли беженцы от слез.

Полегло нескошенное жито,  
Отчий край потоптан и сожжен,  
Лишь зола холодная защита  
Под крестами в ладанках у жен.

После вечера ко мне подошел известный литературовед Николай Леонтьевич Бродский и с такой важностью заговорил о моей пейзажной лирике, что я от смущения чуть не провалился сквозь землю. А об отрывке из поэмы сказал, что на моем месте он бы отказался читать такие вещи и уж тем более – печатать.

– Почему? – удивился я.

– Наивный вы человек, – ответил профессор, подкручивая стрелки усов. – Неужто вы не видите, что дело идет к войне. Все могут превратно истолковать и обвинить в пацифизме.

– Вот уж никогда не думал, – вспыхнул я.

– А надо думать, молодой человек, – наставительно заметил Николай Леонтьевич и опять принялся растолковывать мне мою лирику.

Я был знаком с некоторыми еще дореволюционными его работами. Составленную им вместе с Мендельсоном и Сидоровым историко-литературную хрестоматию я считал едва ли не лучшей среди изданий подобного рода. А его предисловие к книге «Времена года в русской поэзии» знал наизусть и мог читать, как стихи:

«Чувство природы, любовь к ее краскам, раздумье над ее тайнами, умение схватить в ней длительное и мгновенное, почувствовать красоту в ней и ее отблеск в своей душе – это сложное чувство требует пристального ухода за собой, должно быть и оберегаемо и воспитываемо с самой ранней поры».

Эта книга, любовно изданная «Книгоиздательством писателей в Москве» в девятнадцатом году с рисунками художников А. Архипова, А. Васнецова, К. Коровина, И. Левитана, С. Малютина и других, всегда лежала на моем письменном столе. Из предисловия Бродского я даже собирался взять эпиграф к своей новой книжке. Поэтому его похвалы были мне особенно приятны. Я тут же надписал и подарил ему свой сборник «Колосья».

Об отрывке из поэмы мы больше не заговаривали. Я хорошо понимал, что предостерегал меня многоопытный Николай Леонтьевич из самых добрых побуждений и оби-

жаться на него я никак не мог. Но согласиться с ним мне тоже было невозможно, так как писал я свою поэму именно потому, что всем существом чувствовал приближение новой войны. Выбросить же оттуда лирические отступления значило для меня то же самое, что обкрадывать самого себя. Впрочем, сделать этого было уже нельзя, даже если бы я и захотел. В смоленском издательстве со дня на день должен был появиться сигнальный экземпляр моей новой книги «Истоки», где печаталась и поэма.

Однако, как я не храбрился, а отмахнуться от предостережения профессора, может быть слишком перепуганного буреломом тридцать седьмого года, мне не удалось. Когда я остался один, у меня вдруг защемило сердце от ощущения полной незащищенности перед самыми нелепыми обвинениями, которые у кого-то могут возникнуть. Преодолевать такое ощущение мне всегда помогало полученное в наследство от деревенских предков душевное здоровье. Помогло и на этот раз.

Познакомившись на поэтическом вечере с карельским смолянином Иваном Кутасовым, я вскоре подружился с ним, и мы каждое утро отправлялись куда-нибудь в горы. Сначала ходили вдвоем, потом к нам присоединился молодой петрозаводский литературовед – Василий Базанов. Оказалось, что он имеет прямое отношение к смоленскому землячеству, занимается изучением творчества Федора Глинки, всеми своими корнями связанного со Смоленщиной, а после поражения декабристов сосланного в Петрозаводск и написавшего там поэмы «Карелия» и «Дева карельских лесов».

Личность Федора Глинки, автора замечательной книги «Письма русского офицера», меня интересовала давно в связи с Отечественной войной 1812 года, и нам с Базановым было о чем поговорить во время наших походов в горы. Иногда мы брали с собой малышей – мою дочку и базановского сына. Я рассказал Кутасову, как моя Наталка, барахтаясь в первый день у кромки прибоя, глотнула ненароком глоток воды и радостно завизжала: «Папа, а кто это посолил море?» Тот пришел в совершенный восторг. Тормоша девочку, он поминутно спрашивал: «Ну, так кто же все-таки посолил море?»

Моя дочка привязалась к нему так же, как и сынишка Базанова. Они ни на шаг не отставали от него. У самых крутых подъемов Кутасов усаживал их к себе на плечи и бегом поднимался на перевал. Чтобы развлечь малышей, он вдруг начинал во весь голос перекликаться с эхом, заставляя отвечать себе все ущелья, все расселины окрестных скал. Глядя на него в такие минуты, я думал, что тут он гораздо больше поэт, чем в своих стихах, но что переполняющий его избыток сил и вся его душевная щедрость неминуемо, не сегодня так завтра должны прорваться в стихи.

Однажды он рано утром ушел в горы один и пропадал там целый день. Явился только к вечеру и весь побитый, в синяках. Оказывается, ему захотелось найти спуск с горы в сердоликовую бухту, куда обычно попадают либо с моря, либо пробираясь берегом, где есть несколько рискованных мест, которые надо проходить по воде, держась за выступы скалы, а последний кусок пути преодолевать вплавь. Кутасов несколько раз звал нас туда, но мы, не ахти какие пловцы, не решались пойти. Вот тогда-то он и задумал разведать для нас спуск с горы. Возвратиться из этой разведки на своих ногах, как говорили знающие люди, у него было очень немного шансов.

Хождение в горы, в каменный сад Карадага с его обрывистыми террасами и крутыми тропинками среди причудливых нерукотворных изваяний, на какое-то время пришлось прекратить. Но Кутасову все равно не сиделось на месте, и он дня через

три–четыре отправился с нами на могилу Волошина. Похоронен поэт по его последнему желанию был на седловине противоположной Карадагу горной гряды Кучук-Енишары, по соседству с замыкающим коктейльскую бухту с левой стороны мысом Хамелеон. Дорога туда не столь трудная, как по карадагским крутизнам, а вид оттуда такой, что дух захватывает. Вся первозданная природа Коктебеля как на ладонях: всхолмленная, изрезанная балками степь, виноградные долины предгорья, зыбкая синь моря, отвесные кручи скал. Изваянный судьбой и ветрами профиль Волошина надо смотреть тоже с его могилы.

Обнажив головы, мы стояли у обложенного диким камнем холмика. На нем кто-то выложил из гальки крест. Лежит пучок полыни. Тускло поблескивают на солнце слезы nereid – обкатанные морем халцедоны.

Мои спутники попросили меня вспомнить что-нибудь из стихов Волошина, и я, не поднимая глаз от могилы, начал полупшепотом:

Костер мой догорал на берегу пустыни.  
Шуршали шелесты струистого стекла.  
И горькая душа тоскующей полыни  
В истомной мгле качалась и текла.

В гранитах скал – надломленные крылья.  
Под бременем холмов – изогнутый хребет.  
Земли отверженной – застывшие усилья.  
Уста Праматери, которым слова нет!

Внизу, как сказал поэт, медленно плавился зной, а нас у его могилы насквозь пронизывал ветер.

Спускаясь к морю, мы молча шли без дороги по заросшему колючей травой скату. Прямо передо мной маячила вышка волошинского дома-корабля, виднелась его галерея, которую здесь называли палубой. И я снова и снова думал о том, смог ли бы Волошин почувствовать здесь, на глухом киммерийском берегу воздух Эллады, если бы не побродил в молодости пешком по древним пажитям Европы.

Меня еще в школьные годы пленяли его стихи о Париже и Венеции. Я этих городов не видел даже во сне и был счастлив, что поэт подарил мне их, позволил прикоснуться к их камням.

Стихов о Коктебеле я в ту пору в его сборнике просто не заметил. Да это и не удивительно. Нужно многое пережить и о многом подумать, чтобы понять, что лучше всего поэт раскрывается на том, как он пишет о своих родных местах. Пришло время, когда и для меня это стало главным мерилем любого искусства.

Поравнявшись с домом Волошина, мы, не сговариваясь, в один голос сказали, что первый долг свой перед покойным поэтом мы исполнили и завтра уже можно будет пойти к Марье Степановне. Договориться с нею взялся Кутасов.

Из стихов Волошина, как я подозреваю, он знал только те, что услышал здесь, в Коктебеле, но зато умел все схватывать на лету и, что самое главное, умел сразу находить общий язык с самыми разными людьми. А с Марьей Степановной договориться было

нетрудно. Она радовалась любому проявлению интереса к личности и творчеству своего Макса. И вот всей компанией мы поднимаемся по деревянной скрипучей лесенке, ведущей в святая святых дома – мастерскую и кабинет Волошина.

На террасе нас встречает пожилая, но еще крепкая женщина ниже среднего роста, с густой скобой темных, тронутых сединой волос на круто посаженной голове. Всем своим обликом она напоминает курсистку начала века. Нам не нужно объяснять, что это и есть Марья Степановна, хранительница литературного наследия Волошина и его никем не утвержденного, но фактически существующего мемориального музея. Она прежде всего вводит нас в мастерскую, высотой своей, полуовальной формой, своими огромными, в два яруса, окнами напоминающую храм. Ощущение это усиливается тем, что лесенка у стены, увешанной акварелями с видами Коктебеля, ведет, как на хоры, в кабинет мастера – поэта и художника.

В кабинете – все сделано руками хозяина. Похожий на верстак стол, дощатое ложе – топчан.

Марья Степановна, ни на одну минуту не умолкая, словно боясь, что ее кто-то прервет и она не успеет выговориться, рассказывает о человеке, чью память она бережет с почти религиозным благоговением. В ее рассказе немало наивной восторженности и даже сентиментальности, но я охотно прощаю ей все это за ее высокое понятие об искусстве, как о подвиге служения человека человечеству.

От Марьи Степановны я впервые услышал, что Волошин, который мне казался русским парнасцем, отрешенным от всякой злобы дня, в юности был исключен из Московского университета, арестован и выслан в Среднюю Азию за участие в политических студенческих волнениях, что в последние годы жизни любимым поэтом своим он называл Некрасова. Незаметно у меня появилось такое ощущение, что со стен сошли все портреты хозяина дома и слились в один образ. Я увидел, что потомок запорожских казаков не только в стихах старался сблизить Киммерию с Элладой. Это родство он подчеркивал всем своим обликом: русская окладистая борода и что-то вроде греческого хитона. Суковатая пастушеская палка и сандалии на босу ногу... Волошин словно дразнил неожиданностью сопоставлений.

Особенно неожиданной для меня показалась любовь Волошина к Некрасову, которую весьма настойчиво подчеркивала Марья Степановна. Я даже подумал, что для него, по всей вероятности, это была невольная дань времени, вряд ли связанная с глубинными потребностями его души, и что Марья Степановна инстинктивно ухватилась за эту дань, чтобы хоть как-нибудь связать образ поэта если не с революцией, то хотя бы с традициями русской гражданской и социальной поэзии. По тем его стихам, которые я знал, такую связь уловить было довольно трудно. Единственной вещью, где Волошин поднимался до почти библейского пафоса, я считал стихотворение «Ангел мщения», но ведь оно написано как предупреждение против развязывания народных страстей:

Не сеятель сберет колючий колос сева.

Принявший меч погибнет от меча.

Кто раз испил хмельной отравы гнева,

Тот станет палачом иль жертвой палача.



Здесь позиция Волошина гораздо ближе к толстовской, чем к некрасовской. Сама Марья Степановна прочла нам, как образец его гражданской лирики, стихотворение «Дом поэта». Стихотворение, полное высокого благородства, но также отнюдь не некрасовское. Вспоминая о бурях гражданской войны, когда Крым несколько раз переходил из рук в руки, поэт писал:

В те дни мой дом убог – слепой и запустелый,  
Хранил права убежища, как храм,  
И раскрывался только беглецам,  
Скрывавшимся от петли и расстрела.

Стихи эти заставляли вспомнить знаменитые строчки Алексея Константиновича Толстого «Двух станов не боец, а только гость случайный». И все же в них уже не было и следа эстетической созерцательности раннего Волошина. В них с большой искренностью выразился тот наивный гуманизм застигнутого врасплох бурными событиями русского интеллигента, в котором гораздо больше личного мужества и благородства, чем понимание социального смысла происходящего. Силу им придает пафос защиты высших моральных ценностей, имеющих непреходящее значение.

Уже по одному этому от них нельзя, невозможно было отмахнуться, как от чего-то старомодного. Я скорее чувствовал, чем понимал тогда, что такие стихи могли быть написаны только в России в то время, когда людям особенно нужна была доброта.

Так для меня если не открылся, то приоткрылся другой неведомый мне Волошин. Тогда же я впервые увидел его акварели, которые как бы дополняли, обогащали его стихи, делали их более осязаемыми, зримыми.

Мы прикладывали к уху привезенные поэтом из дальних странствий раковины, чтобы услышать шум океанского прибоя, и рассматривали найденный на коктебельском берегу обломок доски с медной обшивкой от греческого корабля эпохи Гомера. От портрета хозяина работы его друга Диего Ривьеры, связанного с художественными исканиями начала двадцатого века мы переходим к копии скульптурного портрета древнеегипетской царевны Таиах. В заключение Марья Степановна показывает нам волошинскую коллекцию коктебельских камней, сказав при этом, что лучшие свои находки он раздарил друзьям, так же, как раздарил наиболее удачные акварели.

– Делать людям подарки было его страстью, – говорит она. – Макс не любил расставаться только с книгами. В своей библиотеке он собрал все лучшее, что создано его современниками в поэзии, русской и иностранной, особенно французской.

Слушая Марью Степановну, вглядываясь в черты ее выдубленного временем лица, я думал: а ведь есть нечто глубоко символическое в том, что хранильницей наследия Волошина оказалась не какая-нибудь хлипкая эстетка декадентского толка, а эта крепко сбитая, не привыкшая сидеть сложа руки женщина, наделенная простонародной выносливостью и душевным здоровьем. Она, наверно, далеко не все понимала в исканиях боготворимого ею Макса, многое в его раннем творчестве было ей, вероятно, внутренне чуждо, но ко всему созданному им она относилась с той бережливостью, которая присуща людям труда. Прощаясь с нею, я уже знал, что еще не раз вернусь на ее порог.

Жена моя чуть ли не с самых первых дней в Коктебеле заразилась «каменной болезнью». Она проводила целые дни на берегу, переворачивая в поисках сердоликов и фернанпиксов груды гальки. Свои находки она ежедневно показывала жившей с нами рядом Мариэтте Сергеевне Шагинян, а та совершенно безжалостно выбрасывала их за окно, как не достойные ни малейшего внимания.

– Я понимаю, что можно собирать слезы нереид, но зачем же подбирать их сопли, – говорила она с нарочитой грубоватостью.

Жену это несколько не обескураживало и в конце концов ей удалось найти два–три вполне приличных сердолика и несколько фернанпиксов, получивших одобрение самой Мариэтты Сергеевны.

– Вот с этого и начинайте, – сказала она. – Чтобы выработать хороший вкус, в любом деле нужно быть беспощадным к себе, не довольствоваться малым...

Находки жены вдохновили на поиски и меня. И на меня перешла «каменная болезнь». А старые коктебельцы говорили, что заболевшие этим недугом никогда не забывают дорогу к синей бухте у подножия Карадага.

Как память о море и голубых скалах мы в первый раз увезли из Коктебеля папиросную коробку цветных камней, запах полыни и чабреца и надежду на встречу там с новыми друзьями в будущем году.

Теперь мы уж заранее планировали свою поездку в Коктебель, тем более что он очень помог нашей дочери. Приступы астмы у нее стали гораздо реже, и врачи пришли к заключению, что болезнь может пройти бесследно после нескольких посещений Черноморского побережья. Одним словом, в следующем году мы уже просто не могли не поехать в Коктебель.

Приехали мы туда в тот же срок и даже поселились в той же комнате, что и в предыдущем году. Однако наших петрозаводских друзей, с которыми мы сговорились приехать одновременно, почему-то не оказалось, но мы уже и без них не чувствовали себя такими одинокими, как в первый раз. Теперь нам и самим были известны все тропки к вершинам Карадага, все подходы к открытым и закрытым бухтам в окрестностях Коктебеля. Теперь мы сами могли водить в походы новичков.

Из знакомых литераторов я в первый же день встретил Уткина и профессора Бродского. Николай Леонтьевич затащил меня к себе и сразу же заговорил о моей книге «Колосья», подаренной ему в прошлом году. А я уже успел остынуть к ней. У меня в чемодане лежал новый, недавно вышедший в свет сборник «Истоки». В молодости мы мало дорожим сделанным, твердо веря, что каждая наша следующая книга будет лучше предыдущей. И я, смущенный тем, что Николай Леонтьевич с профессорской основательностью стал разбирать какие-то мои стихи из «Колосьев», сказал, что эта книга для меня пройденный этап, что мне намного важнее услышать его мнение о новом моем сборнике, который я завтра же подарю ему.

Профессор посмотрел на меня весьма неодобрительно и покачал головой:

– Конечно, в ваши годы выход каждой новой книжки – событие для вас. Я это хорошо понимаю. Но меня очень огорчает ваше отношение к своей работе. Нельзя так легко отказываться сегодня от того, что вы делали вчера. У меня есть только одно-единственное извинение для вас – молодость.

Я еще больше смутился, покраснел и совсем уж по-мальчишески стал благодарить его за преподанный урок.

Заметив мое смущение, Николай Леонтьевич сменил гнев на милость, сказал, что рад будет убедиться в моем творческом росте, сравнив «Колосья» с новой книгой стихов.

На следующее утро я с душевным трепетом вручил ему сборник «Истоки», где была напечатана и та поэма, отрывок из которой так переполошил профессора в прошлом году. Мне очень хотелось услышать, что скажет он, когда прочтет поэму полностью. Но говорить с ним о стихах мне на этот раз больше не привелось.

В районе Коктебеля начались военные учения. В пустынной бухте появились корабли. Самолеты то и дело сбрасывали на них дымовые бомбы. В поселке по нескольку раз на день объявляли воздушную тревогу. На берегу и в горах за каждым выступом скалы, за каждым поворотом тропинки стояли патрули пограничных войск. Как только смеркалось, над морем вспыхивали лезвия прожекторов.

Отправляться в дальние прогулки было рискованно. Пограничники задерживали всех запоздавших, оказавшихся в неурочное время в горах или отдаленных бухтах.

Я успел сходить лишь на могилу Волошина и с утра до вечера пропадал на пляже, где свои специалисты по международным делам комментировали каждое газетное сообщение. А сообщения эти становились все тревожнее и тревожнее. И без комментариев было понятно, что дело всерьез запахло войной. Гроза, оглушившая Западную Европу, повернула на восток и с новой силой разразилась над Польшей. Когда развернулись польские события, стало ясно, что время предгрозя кончалось и для нас.

Из Коктебеля я уехал до срока по вызову военкомата. Жена тоже не захотела оставаться без меня в Коктебеле с маленькой дочкой на руках. Мы даже не успели как следует попрощаться с морем, которое в те дни ранней осени было на удивление тихим и лучезарным. Но по пути в Феодосию я все-таки не забыл бросить под мосток монету на возвращение.

В Феодосии мы с большим трудом, да и то только по телеграмме с вызовом военкомата, достали билеты на переполненный поезд.

В Крыму стояли лучшие дни бархатного сезона, а из санаториев спешили уехать не только те, кто ожидал мобилизации. В такие дни каждому хотелось быть поближе к своим родным.

До Москвы мы добрались благополучно. Поезд пришел туда почти вовремя. А из Москвы до Смоленска добирались больше чем двое суток. Белорусская дорога была забита воинскими эшелонами, и пассажирские поезда шли без всякого расписания, часами стояли на станциях и полустанках, дожидаясь, когда освободятся пути.

В Смоленске, только на минутку забежав домой, я отправился в военкомат за назначением.

Так, в сущности, коктебельские дни того позднего лета и ранней осени оказались последними мирными днями моей молодости. С тех пор тревоги почти не прекращались.

В Москве у букинистов я купил книжечку Волошина «Верхарн» (Судьба. Творчество. Переводы). Купил, несмотря на то, что у меня уже стоял на полке изданный академией солидный том стихов Верхарна, где были и волошинские переводы. В книжке Волошина меня потрясло предисловие. Оно касалось не только судьбы самого Верхарна. Речь шла о трагедии целого поколения европейской интеллигенции.

«Тонкий и остроумный Жюль Леметр, умерший в первый месяц войны, за несколько недель до этого был поражен болезнью, необычной, как библейское знамение: он научился читать. Зрение его оставалось нетронутым, он продолжал воспринимать все впечатления внешнего мира, но какой-то маленький сосудик, лопнувший в мозгу, нарушил работу памяти, и он, всю жизнь живший для книги и книгами, для которого они были живыми существами, потерял способность различать смысл напечатанных знаков. Война застала его, когда он пытался снова научиться читать по слогам, и нанесла ему милосердный удар. Не являлось ли это указанием того что в наступающую страшную эпоху истребления французской литературы, ему, Жюлю Леметру, читать будет нечего и незачем?»

Эти строки пронзили меня, как молния. Если так было в прошлую войну, то что же сулит будущая?

Весной следующего года мне сообщили из Петрозаводска, что на финском фронте погиб мой коктебельский приятель Иван Кутасов, так и не успев найти свою дорогу в поэзии.

В Коктебель я уже и не собирался. Вскоре после окончания финской войны я написал стихотворение о возвращении русского солдата в родные места. Вот как мне виделось это возвращение:

Он весь этот мир, что с детства знаком,  
Казалось, снова открыл –  
С дорогой накатанной, с ветряком,  
Раскинувшим тени крыл;

С цепочками пчел, что на запахах цветов  
Тянуться через гать.  
И понял: за это за все готов  
Он душу свою отдать.

Какой там покой, когда зажжена  
Земля с четырех сторон!  
«Совсем возвратился?» – спросит жена.  
«В отпуск», – ответит он.

Секретарь редакции смоленской газеты, куда я отдал это стихотворение, сказал, что печатать его нельзя, так как оно подтверждает вздорные разговоры о неминуемости войны. Пришлось пойти к самому редактору. Тому стихотворение понравилось, но когда я рассказал ему о разговоре с секретарем, он призадумался.

– Я за то, чтобы напечатать, но нужно, конечно, посоветоваться.

Назавтра, встретившись со мной в редакционном коридоре, секретарь ласково взял меня под руку и с шутливой серьезностью поклялся, что сделает все, чтобы стихотворение мое не появилось в газете.

– Давай лучше какие-нибудь другие стихи. В первое же воскресенье поставлю самые распейажные...

Я достаточно хорошо знал, какую власть в редакции имеет секретарь, и к редактору больше не пошел, но тот на этот раз решил поставить на своем. В середине июня я зашел к нему сказать, что уезжаю с Михаилом Васильевичем Исаковским на несколько дней в деревню. Он попросил меня написать очерк о районном центре и пообещал, что в ближайшем воскресном номере газеты обязательно напечатает мое стихотворение. Так оно появилось в роковой день 22 июня.

В годы войны все мои помыслы были заняты судьбой многострадальной Смоленщины, испепеленной и растоптанной врагом, но не смирившейся перед ним. Чтобы не отрываться от нее, я перешел из редакции фронтового журнала в штаб партизанского движения. О Коктебеле вспомнил я только в самом конце войны, встретившись в московском Доме литераторов с вернувшимся из эвакуации профессором Бродским. После первых приветственных слов, он сказал:

– А вы как в воду глядели, когда писали в своей поэме:

По дорогам русским в беспорядке  
Разогнала беженцев война.  
Их встречают воплями солдатки,  
Выкликают мертвых имена.

– Я не раз приводил эти строчки своим студентам. Отсюда, да еще от «Молитвы солдатки» из той же поэмы идет вся ваша военная лирика. Я искренне рад, что встретил вас и могу вам сказать все это. В Коктебеле я был неправ, когда предостерегал вас от таких вещей. Вы забудьте тот наш разговор.

– Ну, что вы, Николай Леонтьевич, – взмолился я. – Как я могу забыть о коктебельских разговорах с вами, когда у меня о них осталась самая добрая память. И предостережение ваше тогда я понял совсем в другом смысле.

– Время было, сами знаете, какое тревожное тогда, – продолжал Николай Леонтьевич. – Если удастся снова встретиться на коктебельском берегу, поговорим по-другому...

После этого мы еще несколько раз виделись в Москве, отпраздновавшей День Победы, но в Коктебеле наши дороги больше уже не сошлись. Николаю Леонтьевичу врачи запретили поездки на юг, а я никак не мог дожидаться, когда же откроется Дом творчества на берегу коктебельской бухты.

За годы войны я выпустил несколько книжек стихов, написанных во фронтовых землянках и холодных гостиницах прифронтовой Москвы, на пепелищах сел и среди дымящихся руин городов, откуда только что был выбит враг. И все-таки у меня не проходило ощущение, что чего-то самого главного о войне я еще не сказал, что я писал пока лишь о том, что накипело и выплескивалось само. Мне казалось, что настало время поднять и переплавить все, что накопилось на дне души. Необходимо было заново обдумать и осмыслить все пережитое на войне. И, как самое лучшее место для неторопливых раздумий наедине с самим собой, мне все чаще вспоминался Коктебель.

После войны там все начиналось сначала. Дом творчества снова, как впервые, открылся в доме Волошина. Все остальные здания были разрушены. Выдавая туда путевки, в Литфонде предупреждали, что там еще нет света, что по вечерам придется сидеть

даже не с керосиновыми лампами, а со свечами, что туда надо брать с собой продуктовые карточки...

Меня все это нисколько не смущало. За время войны я привык работать в любой обстановке. Да и сразу после войны обстановка в моем Смоленске, где немцы, в буквальном смысле слова, не оставили камня на камне, не позволяла забыть фронтовые привычки. В первую зиму мне пришлось писать на краешке кухонного стола при свете мигающей коптилки. Кухня у нас тогда была единственной комнатой, где не коченели руки, и пальцы могли держать перо. А в Коктебеле, по крайней мере, будет тепло и тихо. Мне же для работы ничего другого и не требовалось. Впрочем, работать там я даже и не собирался. Я просто надеялся, что на пустынном берегу моря под сенью каменных скал Карадага мне легче будет сосредоточиться на пережитом и передуманном, привести в строй и ясность свои мысли. А жена уже бредила коктебельскими камнями, сердолика-ми и агатами, нефритами и яшмами.

В тот раз в волошинском доме собралось не больше полутора десятков человек, приехавших из Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. Почти все это были люди, еще до войны заболевшие Коктебелем. С большинством из них я познакомился только перед войной, но познакомился именно в Коктебеле, а все коктебельцы встречались в волошинском доме как старые друзья. Сейчас мне даже трудно вспомнить, кого я нашел там в первый послевоенный приезд.

Коктебельские воспоминания тех лет для меня слились в одно, когда мы жили в похожих на кельи комнатухах, собираясь по-семейному за столом на маленькой веранде. Но мне невозможно представить себе Коктебель той поры без писательницы Мариэтты Шагинян, художника Михаила Васильевича Куприянова, заглавного из троицы Кукры-никсов, и поэтессы Елены Благиной. Вместе с ними мне всегда вспоминается и живший в деревне, но входивший в наш дружный семейный круг искусствовед Александр Георгиевич Габричевский и его жена, талантливая художница Наталья Алексеевна. Неистощимая на выдумки, она устроила домашний кукольный театр и была душой всех затей, скрашивавших наши вечера наверху у Марьи Степановны. Чтение стихов там перемежалось постановками веселых сенок и шарад. В этих постановках участвовали почти все мы, кроме разве Мариэтты Сергеевны Шагинян.

Мне кажется, что именно тогда Елена Благина написала свой цикл адресованных тесному коктебельскому кругу песен, для которых сама же подобрала и музыку. Одна из этих песен стала как бы своеобразным коктебельским гимном:

Коль мыслию унылой  
Ты омрачишься вдруг,  
Припомни берег милый,  
Его крутой излук.  
Плещет волна,  
Гонима свежим ветром,  
Гудит античным метром  
Басовая струна.

...  
Припомни тот плавучий  
Многооконный дом  
И то, что был ты лучше,  
Нежней и чище в нем.

Пришлась по душе сложившемуся в первые послевоенные годы коктебельскому содружеству и другая песня Елены Благиной, которой начиналась каждая наша застольца. Запевали ее обычно либо сама Благиша, как ласково называли Елену Александровну в дружеском кругу, либо жена Михаила Васильевича Куприянова – Евгения Соломоновна. Слова этой медлительной, чуть грустной песни заставляли нас вспомнить все пережитое на дорогах войны, чтобы лучше оценить после разлуки счастье новых встреч:

Опять народу здесь полно,  
И сколько милых лиц,  
Опять зеленое вино  
Мы пьем из солониц.

Друзей сомкнулся тесный круг,  
Его не разорвать.  
Чего не отдал бы ты, друг,  
Чтоб встретиться опять.

Теперешним читателям может показаться поэтической причудой, даже своеобразной экзотикой то, что вино мы пили не из какой-нибудь другой посуды, а именно их солониц. На самом же деле эта деталь объясняется сугубо прозаической причиной. Рюмок тогда не было, а чтобы пить вино стаканами – его было слишком мало, и стеклянные солоницы оказывались самой подходящей посудой.

До войны я знал Благинину как хорошую переводчицу и отличную детскую поэтессу. Только после войны я узнал, что она писала и превосходные «взрослые» стихи. Впервые я услышал эти стихи в ее чтении у Марьи Степановны, в мастерской Волошина, и до сих пор помню, какое большое впечатление на меня произвело стихотворение «Овальный портрет», которое было напечатано только много лет спустя в ее книжке «Окно в сад».

Свои «взрослые» стихи Благинина писала неторопливо, печатать их тоже не спешила и отводила душу сочинением песен, обращенных к друзьям.

Несколько позже в Коктебеле стала появляться Маргарита Алигер. Она сразу же сблизилась с кругом старых коктебельцев. И хотя ее увлечение Коктебелем продолжалось недолго, она оставила там добрую память о себе песней, которую до сих пор поют на проводах уезжающих друзей.

Расставанье с каждым часом ближе,  
Грустно я гляжу на склоны гор.  
Милый край, зелено-серо-рыжий,  
До свиданья, кончен разговор.

Гулкие, обрывистые кручи,  
Ветровой грохочущий простор.  
Милый край, горячий и колючий,  
До свиданья, кончен разговор.  
...  
Без меня на утро солнце встанет,  
Я гляжу, и мой прощальный взгляд  
Пелена невольная туманит...  
До свиданья, я вернусь назад!

Песни Елены Благининой и Маргариты Алигер стали в некотором роде фольклорной коктебельской классикой. Кроме них и рядом с ними существует довольно богатый расхожий коктебельский фольклор, фольклор малых жанров, в который внесли свою лепту едва ли не все приезжавшие туда поэты. Круг живых, невыдуманных героев этого фольклора очень широк, от известных все стране писателей до популярной в свое время только среди завязятых коктебельцев ларечницы Вали.

Старые коктебельцы, коктебельцы довоенной формации, не терпели в своей среде ни малейшего проявления пижонства или снобизма. Встречая новичков, мы дружно скандировали:

Кто не хочет жить на просторе,  
Кто любит тешить спесь:  
Пусть уезжает на Рижское взморье,  
Снобам не место здесь!

И в самом деле, на пустынном коктебельском берегу случайно попавшие туда пижоны чувствовали себя не в своей тарелке и долго не задерживались там. В другой раз туда редко кто из них отваживался приезжать. Ведь там поблизости не было не только города, но и мало-мальски благоустроенного поселка.

Сам Коктебель, еще до войны переименованный в Планерское, восстанавливался медленно. Белые с красными черепичными крышами домики здешних старожилов – крымских татар и болгар – зияли выбитыми окнами и выломанными дверьми.

В то время сельсовет охотно продавал пустовавшие домики, и некоторые писатели и артисты приобрели себе таким образом дачи. Подумывал об этом и я, но, взвесив все, отказался: на целое лето я приезжать сюда не мог, а ради одного месяца не стоило городить огород.

До войны тут, кроме писательского Дома творчества, обосновалось несколько санаториев. После войны из них уцелел только один, где открылся Дом отдыха профсоюза медиков, такой же малолюдный, как и наш Дом творчества.

Уйдя в одну из ближайших бухточек, можно было провести весь день в полном одиночестве. Некоторые мои приятели сочиняли там под шум прибоя стихи. Я в Коктебеле, кроме шуточных посланий, ничего не сочинял, ни за столом, ни тем более на прогулках. Я приезжал туда затем, чтобы, отойдя хоть немножко от привычной обстановки, уйдя от



ежедневной будничной суеты, сосредоточиться на, обдумывая прожитое и пережитое, на главном.

Море я полюбил за то, что оно освежало живущее в душе каждого человека чувство истории, давало ощущение связи времен. Стоя на берегу коктебельской бухты, я верил, что оттуда морским путем можно попасть и в современную Грецию, и в Грецию времен Гомера. Только в первом случае нужно садиться на современный теплоход, а во втором – плыть под парусами и на веслах.

Увлечение собиранием обкатанных морем камней рождается, вероятно, из стремления приобщиться к непрерывному ходу времени, ощутить в своих ладонях его работу, увидеть своими глазами его наслоения. Такое занятие, кроме всего прочего, привлекательно еще и тем, что оно позволяет одновременно и обдумывать свою собственную жизнь, и совершать далекие путешествия во времени и пространстве. Александр Георгиевич Габричевский рассказывал мне как-то, что Андрей Белый даже искал в рисунках на морской гальке подтверждения своей философии времени. Конечно, чудачества Андрея Белого вызывали у моих друзей улыбку, но сами мы видели в узорах на камнях, что подсказывала нам наша фантазия.

Настоящие «каменшики» знали, где какие камни нужно искать. В самой коктебельской бухте редко кто находил что-нибудь, кроме более или менее приличных фернанпиксов. В Енишары ходили за «египтянами» – камнями, похожими по расцветке на египетские рисунки; в Лягушачью бухту – за фарфоровыми, покрытыми мелкими пузырьками – «лягушками». За настоящими сердоликами и агатами, а также за «полинезийцами» нужно было идти в более отдаленные бухты. Отправлялись туда обычно после хорошего прибоя, чтобы на берегу были перевернуты все камни. Собирались рано утром, чуть свет, и шли пешком через горный перевал до нижних Отуз, а потом оттуда вдоль берега до Лисьей и Козьей бухты. И сколько я ни вспоминаю таких походов первых послевоенных лет, я не могу припомнить случая, когда бы мы не находили в одной из бухт пришедшего туда раньше нас Николая Николаевича Ляшко. Он жил в поселке и всегда опережал нас, успевал собрать все, что выкатывало за ночь на кромку прибоя море.

Мариэтта Сергеевна Шагинян сразу набрасывалась на него, ругала его бессовестным, а он только посмеивался и выкладывал на ладонь матовые, просвечивающие розовым камни.

– А я не верю, что все это ты нашел сегодня, – взрывалась Шагинян. – Ты старый обманщик и лучшие камни принес из дому, чтобы было чем похвастаться. Ведь знал небось, что встретишь меня.

– Брось, брось, – спрятав камни, ласково похлопывал ее по плечу Ляшко. – Если бы ты не верила, так незачем было бы так кипятиться. Да ты не сердись. Твоих камней море мне не отдает.

Ляшко прятал свою увлеченность камнями за шутки-прибаутки. Шагинян к собиранию камней относилась с той же серьезностью и с той же увлеченностью, с какой бралась за любое дело.

Мы подшучивали между собой над ее причудами, но глубоко уважали за верность себе, своему характеру, дивились ее нескудеющей энергии, которой хватало у нее на все, что попадало в поле ее зрения. Глядя на нее, казалось, что ей вовек не будет сносу.

В дальних походах эта уже и тогда пожилая женщина могла по выносливости заткнуть за пояс едва ли не каждого из нас. По крутым горным тропинкам она шла впереди всех и очень обижалась, если кто-нибудь опережал ее, особенно когда приближались к цели похода.

Презирая всяческое верхоглядство и чистоплюйство, Мариэтта Сергеевна искала камни не только на берегу моря, но и в кучах гальки, привезенной для посыпания дорожек в аллеях Дома творчества. Не раз видели ее ползающей и по самим дорожкам. И когда кто-нибудь проходил мимо – она даже не поднимала головы.

По заведенному давно, еще при Волошине, порядку, все дневные находки камешков показывались и оценивались за обеденным столом. Самым строгим, а иногда и привередливым оценщиком была все та же Мариэтта Сергеевна Шагинян. Однажды моя жена нашла камень удивительной расцветки, с рисунком, напоминающим какую-то фантастическую пляску мышей в подводном царстве. На радостях она тут же показала его Мариэтте Сергеевне. Та даже вспыхнула.

– Это подделка. Такого рисунка море нанести не могло. Его сделали Кукрыниксы, чтобы посмеяться надо мной. Как вам не стыдно участвовать в такой нехорошей игре.

Чтобы доказать свою непричастность к шуткам Кукрыниксов, иногда действительно подбрасывающих наиболее одержимым искателям разрисованные камни, жена протерла свой фернанпикс одеколоном, смазала вазелином, но взвинченная обидным подозрением Шагинян уже не могла оценить его по достоинству.

– Все равно камень безрадостный. Декадентский рисунок и декадентская расцветка, – нетерпящим никаких возражений тоном заявила она. – Я бы ни за что на свете не взяла его в свою коллекцию. Такие камни приносят несчастье.

Жена была, конечно, очень огорчена, но камень все-таки не выбросила. Другие камешки ничего декадентского в нем не увидели. И никаких несчастий нам он не принес, если не считать того обстоятельства, что моя лирика время от времени попадала под обстрел. Но ведь тогда были обстреляны многие, кто не хотел и не мог сводить поэзию к простому отображению.

Мы вернулись с фронта с глубоким убеждением, что завоевали право говорить полным голосом обо всех своих раздумьях и тревогах. Я в те дни написал стихотворение «Надпись на книге». В нем были такие строки:

От слов, заученных и пресных,  
От чувств, что плоти лишены,  
Мой современник, мой ровесник,  
Мы отвратились в дни войны.

...

И недоступные гордыне,  
И неподкупные во всем,  
Ни клятв, ни громких слов отныне  
Мы всуе не произнесем.

Мы хорошо знали, что наши сверстники побеждали на войне не только силой оружия, а и силой духа, убежденности, что с войны они пришли не только возмужавшие, но

и нравственно выросшие, накопившие большой душевный опыт, преодолевшие все, что внутренне сковывало их и мешало расправить крылья. Я не раз возвращался к этой теме в стихах первых послевоенных лет. Обращаясь одновременно и к своему сверстнику и к самому себе, я спрашивал в стихотворении «Снова нам весна глядит в глаза»:

Сколько раз наш путь в густом дыму  
Озаряли беглые зарницы,  
И не время ль расцвести всему,  
Что на дне души у нас хранится?

Этого вопроса, который стоял перед каждым, кто обращался к человеческой душе, не мог заглушить никакой шум, поднимавшийся время от времени в литературе. Ответа на этот вопрос я искал не только тогда, когда передо мной лежал чистый лист бумаги, но и тогда, когда меня манил усыпанный разноцветной галькой берег. Со своими друзьями я встречался в Коктебеле в разные времена. Видел, как они расправляли плечи, как приходили в себя после всевозможных травм и контузий, полученных и на войне и после войны. Вместе с ними я старался подняться над собой, во всяком случае – над своими ежедневными заботами, стать хоть немножко лучше, чище.

Многие писатели приезжали в Коктебель сразу после поездок на новостройки, в колхозы и совхозы. Я хорошо помню шуточные стихотворные отчеты о вторжении в жизнь никогда не унывающего Михаила Дудина с его неизменным присловием «пройдет и это». Помню тревожные раздумья вслух тогда еще молодого, непоседливого Александра Яшина, который, чтобы сделаться своим человеком на любом полевом стану в целинных степях, научился сам водить трактор. Помню умные и всегда очень трезвые, научно аргументированные выкладки Сергея Залыгина, знавшего историю освоения целинных земель с дореволюционных времен.

Все это нужно было обдумать, взвесить, сопоставить, а газеты и журналы предпочитали по каждому поводу печатать одические отклики в стихах и прозе.

И мы отводили души в откровенных разговорах, отправляясь за камнями в какую-нибудь бухту.

О камнях в Коктебеле ходили рассказы прямо-таки легендарного характера. Мне особенно запомнился рассказ об одном из служащих первооткрывателя Коктебеля, известного ученого-окулиста Эдуарда Андреевича Юнга. Говорили, что этот человек, обладавший острым глазом и хорошим вкусом, собрал замечательную коллекцию, в которой были камни неописуемой красоты. Знатоки, писатели и художники, утверждали, что коллекция не имеет цены. Наивный хозяин принял их восторженные слова за чистую монету и решил, что может разбогатеть, продав свои сокровища самому самодержцу всероссийскому, императору Николаю Второму. С этой целью он отправился в Ливадию, где была царская дача. Каким-то образом через придворных ему удалось показать свою коллекцию Николаю. Царь заинтересовался ею и спросил – сколько владелец хочет за нее.

– Миллион. – ответили ему.

– Скажите этому чудаку, что он сошел с ума, – засмеялся царь.

Придворные в точности передали царские слова владельцу коллекции, и тот был до того потрясен гибелью своей, казалось бы уже совсем близкой к осуществлению надежды, что и в самом деле сошел с ума.

Умер этот несчастный человек уже после революции и перед смертью, чтобы никто не мог воспользоваться его коллекцией, выбросил ее в большом кожаном мешке в глубину моря. С тех пор, если кто-нибудь находил по-настоящему хороший камень, говорили: «Это из большого кожаного мешка», что считается у каменщиков высшей похвалой. Я не знаю, что здесь имеет реальные основания, что вымышлено. Я всегда воспринимал этот рассказ как притчу о том, насколько губительно связывать поиски прекрасного с каким-либо материальным, корыстным интересом.

За многие месяцы, проведенные среди каменщиков на коктебельском берегу я убедился, что каждый из них находит только определенные, то есть свои камни, как живописец свои краски, литератор – свои слова. Случайные находки, конечно, бывают, но они в счет не идут. По одной находке в любой области нельзя угадать характер нашедшего, но по нескольким можно его определить с большой степенью вероятности.

Такие увлечения, как собирание камней, отвечают врожденной потребности человека в чистой красоте, созданной самой природой, так сказать, красоте нерукотворной. Она нужна людям, как чистый воздух, как озон. Без нее немислимо творчество.

Однажды, рассматривая в коллекции Натальи Алексеевны Габричевской большой густо-вишневого цвета сердолик, кто-то спросил,

– Почему вы не вставите его в перстень?

– Камни в оправе умирают, – ответила та.

Среди завзятых коктебельских каменщиков я всегда оставался дилетантом. Мне, как это случается с дилетантами и в других областях, нередко везло на такие находки, которые удивляли настоящих знатоков. Но в своих поисках я никогда не заходил за ту черту, когда увлечение превращается во все пожирающую страсть, начинается одержимость, делающая человека каторжником своих собственных иллюзий.

Я не раз огорчал жену и удивлял друзей, когда, найдя два-три хороших камня, прекращал поиски, сказав, что не хочу испытывать судьбу.

По просьбе Ивана Никаноровича Розанова я написал такие, посвященные друзьям-коктебельцам, строки:

Да, страсть кладоискательства жива  
У черноморской древней колыбели.  
О, если б так искали мы слова,  
Как камешки мы ищем в Коктебеле.

Самым лучшим знатоком камней в Коктебеле издавна считался известный ленинградский горьковед профессор Василий Алексеевич Десницкий. Я несколько раз встречался с ним в последние годы его жизни. Он построил для семьи дачу в поселке, а сам предпочитал жить в Доме творчества. Один раз я жил рядом с ним в стоящем на отшибе домике, прозванным «Кораблем». И вот какой мне запомнился случай.

Философ и эстетик Асмус показал мне найденный им неподалеку от нашего мужского пляжа камень – фернанпикс в очень красивой рубашке. Придя к себе, я самыми восторженными словами рассказал о нем Десницкому.

– Ничего вы не понимаете в камнях, – буркнул Василий Алексеевич. – Я видел находку Асмуса. Самый ординарный халцедон.

И надо же было случиться так, что через несколько дней Асмус подарил этот камень Десницкому.

Василий Алексеевич, видимо забыв о недавнем разговоре, позвал меня и стал еще более восторженно, чем я, расхваливать подаренный ему камень. Причем уж он-то расхваливал с полным знанием дела. И я тогда же решил, что спорить с ним можно чем угодно, даже о Горьком, но только не о камнях. О камнях его можно только слушать. Он радовался, когда при нем хвалили работы его учеников, но не выносил, если одобряли найденные не им камни. Моя жена была в числе немногих смельчаков, отваживавшихся показывать Десницкому свои находки.

В последние годы Василий Алексеевич уже не ходил за камнями в дальние бухты. Посылал туда своих домочадцев, живших на даче в поселке, а сам бродил по коктейльному берегу с длинной палкой в руке, – высокий, худой, загорелый, как бедуин.

Я подружился в Коктебеле с его учеником Сергеем Васильевичем Касторским, автором умных, талантливых работ о Горьком. Он был так влюблен в своего учителя, так благоговел перед ним, что не позволял себе даже увлечься собиранием камней, чтобы не раздражать его.

Последнее свое лето Десницкий провел в Коктебеле. Заболел там и, едва успев вернуться в Ленинград, – умер. Касторский не надолго пережил его.

Это был ученый с поэтическим видением мира. В годы нашего знакомства он увлеченно работал над книгой «Горький художник», которую мечтал видеть своим лучшим детищем и обещал мне прислать ее, как только она выйдет. Но получил ее я уже не от него, а от его жены Татьяны Евгеньевны.

«Прошу принять и эту осиротелую посмертную книгу Сергея Васильевича», – писала она.

Я поставил любовно изданный томик на свою золотую полку. Время от времени я наугад открываю его и читаю страницу за страницей с таким чувством, словно продолжаю прерванную на полуслове беседу с милым моему сердцу человеком, дружба которого была для меня одним из самых счастливых даров Коктебеля.

Вообще, неторопливые беседы с друзьями у кромки моря или под сенью скал были для меня едва ли не самым дорогим из всего, чем привлекал Коктебель.

Особенно любил я слушать рассказы таких старых коктейльцев, как Александр Георгиевич Габричевский, хорошо помнивший всех постоянных гостей Волошина от маститого Брюсова до юной Цветаевой.

Человек большой и разносторонней культуры, тонко разбиравшийся во всех видах искусства, Александр Георгиевич умел несколькими словами охарактеризовать человека, нарисовать его точный, а иногда беспощадный портрет.

Я до сих пор помню, как на расспросы об одном из корифеев русского декаданса он ответил мне:

– Андрей Белый сказал о нем так: «Бывает, что у людей проваливаются носы. У него провалилась душа».

Пока восстанавливались разрушенные войной здания Дома творчества, я успел пожить во всех комнатах волошинского поэтического гнезда. Мне было известно, в какой из них Гумилев писал своих знаменитых «Капитанов», где сложились строфы стихотворения Мандельштама «Бессонница, Гомер, тугие паруса». Впрочем, если бы мне даже никто не сказал, где было написано это мандельштамовское стихотворение, я безошибочно угадал бы и сам по его последней строфе:

И море, и Гомер – все движется любовью.  
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,  
И море Черное, витийствуя, шумит  
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Эти строчки могли быть написаны только в одной комнате, названной «Фонарем» и выходящей прямо к морю. Просыпаясь в ней среди ночи, я всегда слышал тяжкий грохот волн, обрушивавшихся у моего изголовья. Я не мог отделаться от ощущения, что они вот-вот унесут мою кровать, как утлую лодку. Вообще из друзей и частых гостей Волошина Мандельштам, пожалуй, лучше всех чувствовал Коктебель. Сколько раз, сидя на берегу, я скандировал под плеск волны его стихи, напоминающие по ритму подсказанный древним грекам самим морем гекзаметр:

Золотистого меда струя из бутылки текла  
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:  
Здесь в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,  
Мы совсем не скучаем – и через плечо поглядела.  
...  
Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,  
Пахнет укусом, краской и свежим вином из подвала.  
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена –  
Не Елена – другая – как долго она вышивала?

Поэт Семен Липкин, приобщившийся к Коктебелю еще при Волошине, рассказывал мне, как рассердился на него Мандельштам, когда он указал ему на неточность в этом стихотворении. Как известно из Одиссеи «любимая всеми жена» Пенелопа не вышивала, а ткала.

Мандельштам накричал на совсем юного тогда Липкина, сказал, что он ничего не понимает в законах искусства и напрасно со своими гимназическими познаниями лезет, куда его не просят. Однако, задетый за живое, попробовал переделать противоречащие Гомеру строчки, но ничего у него не вышло. Так и остались они, не приведенные в соответствие с Одиссеей. Но это никого не трогает. Мало ли чем кроме тканья могла заниматься Пенелопа! В связи с этим мне вспомнилась одна описка у Есенина, на которую указал Бунин. Я чуть ли не с первого чтения запомнил наизусть строки:

Синий май. Заревая теплынь.  
Не прозвякнет кольцо у калитки.  
Липким запахом веет полынь,  
Спит черемуха в белой накидке.

Я вырос в деревне и хорошо знаю, что, когда цветет черемуха, полынь не пахнет. Липкий запах у нее появляется гораздо позже. Но на ошибку поэта я обратил внимание только после того, как прочитал где-то язвительное замечание Бунина. Видно, очарованные подлинной поэзией таково, что перед ней отступают все календари.

С каждым годом природа Коктебеля становилась мне все ближе, все понятнее, все милее сердцу. Я провел немало неповторимо счастливых минут, слушая в сгущающихся сумерках плеск моря у ног и отдаленный треск цикад, наблюдая выход, не восход, а именно торжественный выход из-за мыса Хамелеон огненно-яркой луны, от которой загорались фосфорическим блеском гребешки волн насколько хватало глаз.

Свое название Хамелеон получил оттого, что днем он поминутно меняет оттенки в непрерывной игре теней и света.

Ранней осенью, когда леса начинают пестреть, предгорья Карадага кажутся устланными разноцветными коврами. В эту пору особенно хорошо бродить по горным тропинкам. Дни стоят ясные, но уже не такие жаркие, как в августе. В воздухе к горькому настою полыни примешивается, смягчая его, настой чабреца. Трудно пройти мимо усыпанного крупными, рдяными ягодами кизилового куста. Приближаясь к нему, я уже чувствую терпкий привкус на губах.

Скоро надо собираться домой, на Смоленщину, и я боюсь потерять хоть один день благословенной коктебельской тишины и синевы. Я знаю, что, возвратившись в родные места, еще острее почувствую прелесть среднерусской природы и сразу же возьмусь за работу. Свою многолетнюю привязанность к Коктебелю я так и объясняю друзьям. Поездки туда мне нужны, чтобы не примелькались краски знакомого с детства пейзажа.

Написать что-нибудь о Коктебеле я долго не решался. Боялся, что невольно попаду под влияние Волошина или Мандельштама. Только в середине пятидесятых годов у меня сложился цикл стихотворений, где Крым переключался со средней полосой России, с моей Смоленщиной.

Люблю дни ранней осени в Крыму,  
Прозрачные, как гроздь винограда,  
Вдоль синей бухты белую кайму  
И над заливом в тающем дыму  
Столбы и арки каменного сада.

Люблю в дни ранней осени в Крыму,  
Устав бродить по кручам до упада,  
Прислушаться, как верещит цикада,  
И вспомнить, неизвестно почему,  
В смоленских рощах шелест листопада.

Речушку, тропку к рыжему холму,  
Где бегал ты когда-то без пригляда...  
С гор все видней, и, может, потому  
Люблю я осень раннюю в Крыму,  
Прозрачную, как гроздь винограда.

Прежде чем написать цикл «Из коктебельской тетради», я исходил пешком все ближние и дальние окрестности Коктебеля, не думая, что мне когда-нибудь это может пригодиться, войдет в стихи. Я просто считал своим долгом в каждый свой приезд побывать в Старом Крыму, чтобы навестить могилу Александра Грина, в Судаке (древнем Суроже), чтобы побродить среди развалин старинной Генуэзской крепости, полюбоваться ее величественными башнями, в Отузах, названных после войны Щебетовкой, где так хорошо молодое виноградное вино...

И все-таки стихи получились не столько о крымской природе, сколько о тех раздумьях, которые везде сопровождали меня тогда на берегу Евксинского Понта. В них прежде всего прорвалось чувство раскованности, душевного обновления, овладевшее мной, как и многими моими сверстниками в середине пятидесятых годов.

После шторма море пахнет йодом,  
Берег в голубых цветах медуз.  
Дышишь так, как будто мимоходом  
Сбросил с плеч давно томивший груз.

Будто, разбиваясь в ярой сшибке,  
Растекаясь пеной по песку,  
Смыли волны все твои ошибки,  
Растворили всю твою тоску.

Чуть подернут тонкой поволокой,  
Пред тобой лежит простор большой.  
И опять готов ты в путь далекий  
С чистым сердцем, с легкою душой!

Почти весь цикл был вскоре напечатан в «Новом мире». Через несколько лет на коктебельском пляже писатель Николай Почивалин рассказывал мне о своем первом посещении могилы Волошина, и о том, как его растрогали написанные кем-то на камне волошинские строки:

Есть что-то от древней Эллады  
В тебе, коктебельская синь.

Я должен был огорчить рассказчика, сообщить ему, что это строки не Волошина, а мои.



– А я их, именно как волошинские, вставил в свой очерк, только что отправленный в «Известия», – смущенно признался тот.

– Придется бежать на почту, давать телеграмму, чтобы исправили Волошина на Рыленкова.

Мне было, конечно, очень приятно, что кто-то, отправляясь на могилу поэта, вспомнил и написал на камне мои строки. Немножко огорчало только то, что они приписывались другому автору, но я объяснил это для себя полным незнанием писателя-прозаика с творчеством Волошина.

Приезжего народу в Коктебеле с каждым годом становилось все больше и больше. В Доме творчества Литфонд восстановил все разрушенные во время войны здания и начал строительство новых корпусов и коттеджей. При въезде в поселок, по соседству с домом отдыха «Голубой залив», открылся пансионат. На самом берегу моря появились всевозможные ларьки и киоски. В поселке вместо замызганных забегаловок, ютившихся в полутемных закутках, открылись стеклянные кафе. Местные жители научились сдавать приезжающим без путевок дачникам любые клетушки, но и этих клетушек оказывалось мало.

Местные власти отвели рядом с пансионатом место для тех, кто жил в машинах и палатках. В коктебельской бухте исчезла благословенная тишина. Коктебель сделался если не модным, то, во всяком случае, притягательным местом для туристов, особенно, для студенческой молодежи. Однажды, приехав туда и отправившись на могилу Волошина, я нашел уже не чуть заметную тропинку к ней, теряющуюся среди колючих трав, а настоящую тропу с выложенными из камней указателями на поворотах. Невозможно было поверить, что все это сделано поклонниками творчества Волошина. Я был убежден, что лишь немногие из проходящих сюда знали его стихи, тем более что после сборника «Иверни», вышедшего в 1918 году, книги его не издавались, а в списках стихи не могли разойтись так широко, да еще и в такой необыкновенно короткий срок. Оставалось предположить, что интерес к поэту вызвало не его творчество, а легенды о нем самом, распространенные в окололитературной среде. Встреча со студенческой молодежью на могиле поэта подтвердила такое предположение. Мне не раз приходилось слышать, как бородатые юноши восторженно рассказывали своим спутницам о причудах коктебельского отшельника, ходившего с пастушеской палкой и носившего на теле только длинную холщовую рубаху, напоминавшую греческий хитон, да сандалии на ногах. Очень немногие из них могли бы прочесть наизусть хотя бы несколько его строк, но зато многие знали, что еще до революции он устроил у себя не то своеобразную обитель, не то коммуны, не то странноприимный дом, где ни с кого не взыскивалось никакой платы за кров и стол. Каждый опускал в прибитую у входа кружку сколько мог. Съезжалась в Волошину главным образом молодежь, не мирившаяся с обывательской рутинной, и его гости в пику благовоспитанным мешанским дачникам называли себя обормотами.

Для одних из приходивших на могилу Волошина было вполне достаточно этих легенд о нем, другие же неминуемо должны были заинтересоваться его творчеством. Так оно и случилось. Из сотен людей, ежедневно поднимавшихся к могиле поэта, несколько человек обязательно приходили потом в его дом. А Марья Степановна никогда не отказывалась принимать гостей поэта и всегда охотно разрешала всем желающим переписывать его стихи, как изданные, так и неизданные. В последние годы, когда бы я ни заходил к ней, видел в мастерской незнакомых парней, склонившихся над любовно переплетен-

ными томами, напечатанного на машинке собрания сочинений поэта. И мне самому захотелось перечитать всего Волошина.

Подряд и в больших дозах трудно читать стихи даже очень больших поэтов. Такое чтение может не только утомить, но и отвратить от стихотворца. Я хорошо знал это и решил читать не торопясь.

Четырехтомное собрание сочинений Волошина я одолел в несколько приемов. А одолев, увидел, с каким трудом и с каким упорством Волошин, отдавший в молодости немалую дань всем соблазнам эстетизма, как доморожденного, так и зарубежного, прорывался к своему народу, к его истории, всегда и везде помогавшей художнику понять не умом, а сердцем, всем существом современность. В своей работе о Василии Ивановиче Сурикове, которую киевский журнал «Радуга», напечатавший ее через много лет после смерти автора, назвал повестью, так как в ней именно средствами искусства создан портрет великого мастера исторической живописи, Волошин писал: «... Ни исторические эпохи, ни исторические характеры никогда не угасают бесследно в жизни народов. В современности всегда присутствует все, из чего народ слагался исторически. Подводные течения истории только на время выносят на поверхность, на яркий свет известные элементы народного духа и характера, оставляя другие в тени, в глубине. Но творческие вихри всех эпох присутствуют всегда в жизни народной».

В молодости история привлекала Волошина экзотикой античного мира. В его ранних стихах немало исторических реминисценций, но живого чувства истории в них нет. Они светят отраженным светом. Их блеск слепит глаза, но не греет.

Эпоха войн и революций заставила поэта обратиться к русской истории и прочесть ее как книгу судеб родного народа. Так появились стихи о Дмитриии Самозванце, протопе Аввакуме, Стеньке Разине. Первое из них я без всяких колебаний поставил бы по его пронзительной силе в один ряд с лучшими историческими балладами Алексея Константиновича Толстого:

Голод был, какого не видали:  
Хлеб пекли из кала и мезги,  
Землю ели. Бабы продавали  
С человеческим мясом пироги.  
Проклиная царство Годунова,  
В городах без хлеба и без крова  
Мерли у набитых закровов.  
И разъялась земная утроба,  
И на зов стнящих голосов  
Вышел я – замученный – из гроба.  
По Руси что ветер засвистал,  
Освещал свой путь двойной луною,  
Пасолнца на небе засвечал,  
Шестернею в полночь над Москвою  
Мчал, бичом по маковкам хлестал,  
Вихрь-витной гулял и в ратном поле,  
На московском венчаный престоле  
Древним Мономоховым венцом.

Я не побоюсь сказать, что это стихотворение оказало немаловажное влияние на первые опыты советских поэтов в жанре исторической баллады. С его ритмикой и строфикой перекликаются и «Санкюлот» Павла Антокольского, и некоторые стихи Сергея Маркова.

Я сам отдал немалую дань истории, но пришел к ней иными путями и до того, как открыл для себя Волошина, исходил немало полей, отмеченных русской судьбой.

Для меня история никогда не была экзотикой. Запах родной старины я ощущал с детства в воздухе крестьянской избы, где по вечерам дымила лучина, трещал сверчок и где все вещи ежедневного обихода были точно такими же, как и при дедах моих дедов. Голоса своих предков я слышал в заклинаниях и наговорах знахарей, в причитаниях и заплачках баб, в тех песнях, которыми молодежь на околице деревни провожала зиму и закликала весну, встречала лето и славилась осень. Из глубины веков донесли до меня свою поэзию обряды красной горки и зеленых святок (русальной недели), завивания венков на Троицын день и разжигания костров в купальную ночь. Все это в годы моего детства было не пережитком далекого прошлого, а реальным бытом породившей меня среды.

Поэтому, в какую бы глубокую старину ни уводили меня потом книги по русской истории, я чувствовал себя там как дома.

Социальный кризис Смутного времени в начале семнадцатого века меня интересовал давно, еще со студенческих лет. Уже тогда я перечитал все опубликованные у нас отечественные памятники той эпохи, а также сказания иностранцев, волей судеб оказавшихся тогда в Московии. Простудировал посвященные ее событиям тома Соловьева и Ключевского, монографии Костомарова и Забелина. И у меня сложилось твердое убеждение, что в ту пору великой шаткости, когда большие бояре ради своих корыстных интересов готовы были служить любому удачливому авантюристу, простые люди оказались намного выше тех, кто считал себя солью земли. Заботу о будущем России, о судьбах государства взял на себя сам народ. Смутное время показало, на что способен он, когда надо спасать родину.

В конце тридцатых годов я написал об этом поэму «Скоморох Овсей Колобок», балладу «Свадьба Марии Мнишек» и стихотворение «В дни смуты».

Как-то вскоре после войны я читал свои стихи у Марьи Степановны, в мастерской Волошина. Читал главным образом написанное на фронте. И вдруг кто-то из коктейльских друзей попросил прочесть «Свадьбу Марины Мнишек». Я сначала немножко смутился, мне показалось, что читать в этих стенах стихи на ту же тему, что и у Волошина, не совсем удобно. Но Марья Степановна, заметив мои колебания, начала горячо уговаривать меня исполнить эту просьбу:

– Макс, была бы очень по душе такая переключка, – говорила она.

Мне ничего не оставалось делать, и я, то и дело оглядываясь на портрет Волошина, начал свою балладу:

Патриарх возложил корону, обряд совершил старинный,  
Все потайные желанья исполнились наконец.  
Панна Марина Мнишек стала царицей Мариной,  
И Кремль перед ней раскрылся, как дорогой ларец.

Палаты царей московских дымком золотым повиты,  
А колоколен в небе – что в озере лебедей.  
Кланяются Марине знатные москвиты:  
Всходи на ступеньки трона и всю землей владей.

Однако моя баллада была посвящена не торжеству Марины Мнишек, а подвигу московского дьяка Тимофея Осипова.

Он был удостоен чести поздравить ее царицей,  
Первым из москвитов на верность ей присягнуть.  
И, словно сойдя с иконы, строгий и темнолицый,  
Отвесил поклон, как будто в дальний собрался путь.  
– Внемлите, московские люди, речи моей нехитрой,  
Сидящего перед вами царя разглядите в упор.  
Ты занял чужое место, какой ты царевич Димитрий?  
Ты окаянный Гришка, проклятый свистун и вор.

После вечера ко мне зашел мой приятель украинский критик и сказал, что пафос прочитанной мной баллады направлен прямо против самого существа стихотворения Волошина о Лжедмитрии. Тут же он спросил, сознательно ли я шел на полемику или так получилось само по себе. Я ответил, что о полемике вовсе не думал, но Волошин писал о смуте, а я о преодолении смуты, и в этом вся разница. Потом я прочитал ему стихотворение, которое считал итогом своих размышлений над эпохой. Вот это стихотворение:

Москва в развалинах. Не ладят свадеб свахи,  
Чадят костры чужие у ворот,  
А старые бояре жмутся в страхе  
И лижут пятки вражьих воевод.  
Но Русь жива. Ей голову на плахе  
Не отрубить. Она во дни невзгод,  
Босая и в изодранной рубаше,  
Глядит вперед и счет обид ведет.

Ей снится зорь широкое свеченье,  
Рассветной песни животворный звук.  
Все говорит, что близок час отмщенья,  
Великий гнев рождается из мук,  
И земское скликает ополченье  
Судья посадский – Минин-Сухорук.

– Свадьба Марины Мнишек мне нравится больше, – сказал мой приятель, выслушав стихотворенье, и, помолчав, добавил: – Зато здесь я чувствую сознательную полемику с волошинской точкой зрения.

– А мне, представьте, искренне нравятся его стихи о Лжедмитрии, – ответил я. – В них очень ярко и очень правдиво запечатлелась сама стихия смуты. Нашей русской смуты. Ее очень нелегко было преодолеть, и потому забываю о ней мы не имеем права, как об одном из самых суровых уроков русской истории.

Я знал своего приятеля человеком широких вкусов, но его раздражали скороспелые эстеты, которые раздували Волошина выше всяких мер. Он называл их «юродствующими во Максиньке» и свою неприязнь к ним переносил на Волошина. И тут он был явно несправедлив.

Волошин занял свое место в русской поэзии переломной поры двадцатого века, но эпохальным поэтом он не стал. Помешала ему стать им его замкнутость в кругу чисто интеллигентских проблем как эстетического, так и этического порядка. Вырваться из этого круга он не смог до конца своих дней. Это, безусловно, ограничивало его возможности даже там, где он обращался к родной истории, к ее наиболее напряженным моментам. В его творчестве все время давало о себе знать книжное представление о народе. Ему не хватало непосредственности в восприятии окружающего мира. У Волошина почти нет стихов, порожденных первоначальными радостями и горестями бытия. При всей живописности его пейзажной лирики в ней всегда чувствуется холодок рассудочности.

На это указывали Волошину близкие ему мастера сразу же после выхода его первой книги, выпущенной книгоиздательством «Гриф» в 1910 году. Валерий Брюсов в одном из обзоров поэзии писал: «Стихи М. Волошина не столько признания души, сколько создания искусства; это – литература, но хорошая литература. У М. Волошина нет непосредственности Верлена или Бальмонта; он не затем слагает свои строфы, чтобы выразить то или иное пережитое им чувство, но его переживания дают ему материал, чтобы сделать в стихах тот или иной опыт художника». Еще более определенно подчеркивая отрешенность поэзии Волошина от живой жизни, Вячеслав Иванов уже тогда задумывался о его дальнейшей судьбе. Вот несколько заключительных строк из рецензии, появившейся в апрельском номере журнала «Аполлон» за 1910 год.

«Это богатая и скупая книга замкнутых стихов – образ замкнутой души. Она учит поглощать мир, а не раскрывать свою душу. Поэт «Киммерийских сумерек» должен научиться быть щедрым, чтобы петь как поет птица. Он найдет самого себя только тогда, когда «Аполлон» его строя, преодолев жало Пифона свободным подвигом самоотдачи и самоотречения, братски встретится с Дионисом жизни».

За мифологической терминологией крупнейшего знатока античной культуры и своеобразного поэта Вячеслава Иванова нельзя не расслышать очень понятного и очень святого для нас зова. Ведь недаром же спустя почти полвека один из тончайших лириков нашего времени Борис Пастернак сказал: «Цель творчества – самоотдача».

Свободный подвиг самоотдачи!..

У Волошина на такой подвиг не хватило ни сил, ни человеческого таланта – таланта гражданственности. Да и смысл художнического подвига он видел в другом, в умении противостоять грозам века и оставаться под ними самим собой.

Во всем этом я отдавал себе полный отчет. И все-таки за всем этим я не мог не слышать в его стихах биения чуткого сердца художника, глубоко озабоченного судьбами родины, стремящегося искренне, честно и мужественно разобраться во всех ее путях и перепутьях.

Знаменателен был уже сам путь Волошина, как художника и мастера, путь от декадентских вычуров к некрасовской простоте. Самую доброжелательную и, пожалуй, объективную оценку творчества Волошина после революции дал человек, которого никак нельзя назвать одного с ним поля ягодой. Наоборот, этот человек во многом придерживался совершенно противоположных Волошину взглядов, не одобрял ни его декадентских дореволюционных чудачеств, ни попыток встать над схваткой во время бурь гражданской войны. Я имею в виду коктебельского соседа Волошина Викентия Викентьевича Вересаева. В своих воспоминаниях о Коктебеле и Волошине он писал: «Революция ударила по его творчеству, как огниво по кремнию, и из него посыпались яркие, великолепные искры. Как будто совсем другой поэт явился, мужественный, сильный, с простым и мудрым словом, но и тут постоянно его сосало желание оригинальничать».

А что касается общественной позиции Волошина, то еще больше, чем Вересаева, она не устраивала Бунина. Если певец демократической, связанной с революционными традициями интеллигенции только иронизировал над его склонностью к парадоксам и над иллюзиями аполитичности, отдавая должное его личному мужеству, то более близкий ему в прошлом Бунин увидел в этой аполитичности предательство. Да это и немудрено. Когда Бунин, решительно не принимавший революции, уехал в эмиграцию, Волошин предпочел остаться с Россией. В самые трудные дни он писал, обращаясь к ней:

Умирать – так умирать с тобой  
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!

Вскоре после смерти Бунина, когда начали выходить у нас его книги и встал вопрос об издании собрания сочинений, мне случайно попали в руки его воспоминания и заметки о русских писателях. Там я нашел несколько страниц, посвященных Волошину. Страниц обидно несправедливых.

Я полюбил Бунина чуть ли не с детства и всегда считал его одним из самых больших русских писателей. Поэтому мне особенно горько было видеть, как ослепленный неприязнью к революции ювелир слова теряет чувство меры, становится брызгой, несправедливым даже к близким людям, из тех, что не пожелали покинуть родину.

Волошину он ставит в строку буквально всякое лыко – его неистребимое добродушие, его завидный аппетит в гостях...

И я не мог удержаться, чтобы не спросить у Марьи Степановны – известны ли ей воспоминания Бунина о Волошине. Я знал, что мой вопрос не мог обескуражить ее в любом случае, так как ей приходилось читать о боготворимом ею Максе всякое, а мне очень хотелось узнать, если отзыв Бунина дошел до нее, не было ли у Бунина каких-нибудь особых причин для раздражения. Марье Степановне, видимо, уже не раз приходилось отвечать на подобные вопросы. Она изложила свои возражения Бунину в форме письма ему на тот свет и это письмо прочла мне. Написанное с трогательной наивностью, оно мне ничего не объяснило, но глубоко взволновало своим благородством. С чисто женским тактом Марья Степановна обходила в нем все, что могло бы бросить тень на память Бунина, но все время возвращалась к тому, как хорошо относился к нему Волошин и как бы огорчили его несдержанные слова милого Ванечки... И огорчился бы он не за себя, а за него, за Ванечку, сбитого с толку какими-то эмигрантскими сплетнями...

Дочитав до конца, Марья Степановна сказала, что, собственно говоря, это еще только черновик письма, но что отделявать его она не спешит, так как теперь уже торопиться некуда, и она до конца своих дней будет продолжать обдумывать это последнее письмо в защиту Волошина. А Бунин адреса уже не переменит и ответа может подождать. Для отошедшего в вечность год другой не имеет никакого значения...

От Марьи Степановны я ушел под впечатлением ее письма, но ключа к воспоминаниям Бунина о Волошине у меня по-прежнему не было. Его я нашел потом, когда в мои руки попало стихотворение «Бегство», датированное 1919 годом и посвященное матросам М., В., Б.

В примечании к нему я прочитал: «Стихотворение посвящено матросам Врулевскому, Малишевскому и Борисову, партийным работникам и спутникам Волошина в плавании. Они везли из Одессы в Крым секретные бумаги и перед ними стояла трудная задача – проскользнуть сквозь линию французской блокады. В Ак-Мечети они были встречены пулеметным огнем отряда котовцев, громивших поместье Воронцова, и ответили на него столь виртуозной бранью, что пулемет сконфуженно замолчал. Котовцы приняли путников дружески, угостили и дали им лошадей (по воспоминаниям М.С. Волошиной)».

Вот этого-то путешествия из Одессы в Крым Бунин, уехавший оттуда в эмиграцию, и не мог простить Волошину, который не хотел покидать родину и слагал «Молитву о городе», где:

Выламывали ворота,  
Вели сквозь строй,  
Расстреливали кого-то  
Перед зарей...

В этой молитве он признавался:

Блуждая по перекресткам,  
Я жил и гас  
В бездумье и в блеске жестком  
Враждебных глаз.  
Их горечь, их злость, их муку,  
Их гнев, их страсть,  
И каждый курок и руку  
Хотел заклать.  
Мой город, залитый кровью  
Внезапных битв,  
Покрыт своей любовью,  
Кольцом молитв.

Стремясь разобраться для себя в противоречиях жизненного и творческого пути Волошина, я снова и снова задавал себе вопрос: а что же все-таки привлекает к нему новые поколения читателей, чем он вызывает их интерес и останется что-нибудь от этого интереса, если снять со счета легенды, связанные с его именем, и многолетнее замал-

чивание его творчества критикой. После многих раздумий я, положив руку на сердце, могу ответить, что за всем этим в лучших стихах Волошина есть высокое понятие о человеческом достоинстве, которого он не уронил в дни самых суровых испытаний, щемящее чувство сыновней любви к родине и умение говорить с ней о самом главном, по его разумению, с большим мужеством и полной искренностью. Такие качества всегда высоко ценили в поэзии и умели находить их даже у второстепенных поэтов, легко отделяя зерно от мякины.

В наше время люди считают поиски забытого своим прямым гражданским долгом. Наши читатели сами отстояли для себя и для будущих поколений от всех посягательств вульгаризаторской критики творчество Сергея Есенина. Да и одного ли только Есенина. Разве не то же самое произошло с творчеством Александра Грина? В то время, когда неумные критики объявляли его космополитом, молодежь приносила цветы на его скромную могилу в Старом Крыму, где на каменной плите кто-то написал гвоздем: «Романтики всех стран, соединяйтесь».

Теперь Грин один из самых популярных русских писателей двадцатого века. Его книги выходят огромными тиражами, а купить их все-таки трудно. В Старом Крыму восстановлен его домик, и в нем открыт мемориальный музей, привлекающий всех, кто попадает в здешние места. А в Коктебеле был настоящий праздник, когда там снимался фильм по одному из самых поэтических произведений Грина – повести «Алые паруса», утверждающей осуществимость любой человеческой мечты, если в эту мечту вложена жажда чистого сердца! Об этом напоминает приезжим простирательница руки к алым парусам Ассоль, запечатленная в цветной керамической мозаике на стене одного из коктебельских кафе.

Не нужно быть пророком, чтобы предсказать и второе рождение Максимилиана Волошина. Стремнина времени уже размыла в его творчестве все, что было порождено декадентскими модами тех лет, когда он входил в литературу. Но она не тронула его напряженных раздумий о трагических распутьях века.

У меня есть более дорогие, более близкие мне поэты, чем Волошин. Но бывают минуты, когда мне хочется открыть именно его книжку, прочесть именно его строки:

Быть черною землей. Раскрыв покорно грудь,  
Ослепнуть в пламени сверкающего ока  
И чувствовать, как плуг, вонзившийся глубоко  
В живую плоть, ведет священный путь.

Под серым бременем небесного покрова  
Пить всеми ранами потоки темных вод.  
Быть вспаханной землей... И долго ждать, что вот  
В меня сойдет, во мне распнется Слово.

Быть Матерью-Землей. Внимать, как ночью рожь  
Шуршит про таинства возврата и возмездья,  
И видеть над собой алмазных рун чертеж:  
По небу черному плывущие созвездья.



Мне немножко грустно, что из коктебельской бухты ушла та благословенная тишина, которая привлекала туда многих моих друзей. Они приезжают в Коктебель все реже и реже. Одним запрещают врачи, других отпугивает шум разрастающегося с каждым годом пансионата. Да и в самом Доме творчества с его новыми корпусами стало гораздо меньше уюта, хотя много больше обычных городских удобств. Берег тоже оскудел камнями. На нем несколько лет орудовали экскаваторы и грузовые машины вывозили гальку на строительство шоссейных дорог. В Коктебеле исчезли благородные камни. Стали большой редкостью не только сердолики и агаты, но и обыкновенные халцедоны. Даже в пустынных Отузской и Козской бухтах, куда раньше мы ходили пешком через горный перевал и оттуда никто не возвращался с пустыми руками, стало почти невозможно застать нетронутый берег, поискать камней в тишине. Как только наладилось автобусное сообщение, туда хлынули толпы туристов из пансионата. Нескудеющие запасы цветных и самоцветных камней сохранила лишь сердоликовая бухта, но сохранила в виде обломков, необкатанных морем. В прежние времена эти обломки редко кто собирал. В камне ценилась не только фактура, чистота его благородной породы, но и совершенство формы, приданной ему работой морских волн и времени. Отдавать камни в обработку резчикам, шлифовальщикам и гранильщикам считалось предосудительным, так же как непозволительной считалась и покупка камней. Оскудение берега вынудило ввести в это неписанное правило поправку. Наиболее рьяные каменщики решили, что обрабатывать камни можно, но только своими руками. И все же так или иначе отшлифованные камни становятся похожими один на другой. В них пропадает то неповторимое, что создает сама природа. А более строгие, чем я, ревнители старых коктебельских традиций в один голос осудили такую обработку, как профанацию высокого искусства каменщиков, хотя и понимают, что в своем прежнем виде оно осуждено на вымирание. Обработанные в мастерской камни теперь уже можно купить в киосках на берегу коктебельского залива.

Повторяю, мне всегда становится немножко грустно, когда я думаю обо всем этом. И все таки, несмотря на это, Коктебель не утратил для меня своего обаяния, хотя бы потому, что там завязалась моя дружба со многими дорогими для меня людьми, наезжавшими туда со всех концов страны.

С некоторыми из них, живущими далеко от Москвы, я встречался только раз в году в Коктебеле. И каждая такая встреча была для меня большим праздником.

Я написал совсем немного страниц, под коими рядом с датой можно было бы поставить пометку «Коктебель», но очень многое из написанного мною обдумывалось там в неторопливых прогулках под шум прибоя.

Первозданная красота Киммерии, напоминающая то Элладу, то Палестину, никогда не закрывала от меня родной среднерусской природы.

Наоборот, ее застенчивую прелесть я всегда чувствовал еще острее, возвращаясь с берегов Евксинского Понта.

А что Коктебель на моих глазах изменился – так что ж тут поделать. Все в мире меняется, хотим мы того или не хотим. Да и мы меняемся тоже, только нам самим это незаметно. И вот еще о чем я думаю, стараясь разобраться в своем пристрастии к Коктебелю: чем быстрее становятся темпы жизни, чем больше неожиданных перемен приносит нам смена дней, тем важнее для художника хотя бы раз в году побывать в таком месте,

где преходящее соседствует с непреходящим. Да, в Коктебеле многое изменилось, но изменилось лишь на берегу. А синева моря светится как и прежде, а горы стоят на том же самом месте. И я готов без конца повторять про себя:

Пусть осень – свет немеркнувший  
В горах сияет мне.  
Я все вперед, все вверх еще  
Стремлюсь по крутизне.

Всю жизнь, как тропка горная,  
Судьба моя вилась.  
На кручи лез упорно я,  
Царапин не боюсь.

И не сманить при случае  
Меня судьбе иной.  
Хоть вижу те же кручи я,  
Что видел и весной.

*1967–1968*

*Смоленск – Малеевка*